

КФАР ШАММА

(театральная хроника)

I. From outside

Раз в неделю на нашем помоечном баке неизвестно откуда появлялись арабские театральные афиши. Я никогда не видел, чтобы в течение дня их кто-нибудь развешивал: наверное, их приклеивали в каком-нибудь центре помоек и в готовом виде развозили по районам. А делать это было совершенно бессмысленно, потому что арабы, которые ездили вокруг нашего дома с тележками и неохотно собирали в совок выгоревшие на солнце банановые ошметки и подсохшее собачье дерьмо или отсиживались в жару под кустами, были старыми, потемневшими от зноя и неграмотными и рассчитывать можно было только на курдов, на верхних курдов или на нижних курдов, степенных полноватых мужчин, про которых говорили "глупы, как курды", а на самом деле просто основательны, как курды, и при этом совершенно не похожи на евреев, хотя они и собирались по пятницам двумя отдельными толпами перед курдскими синагогами - нижней и верхней. Нижние курды презирали верхних и практически не считали их за курдов - в основном за то, что большинство верхних курдов разъехались с нашей улицы по более респектабельным районам и в верхних домах они оставляли доживать своих девяностолетних старух. Но все-таки по субботам они приезжали сюда, в свою старую синагогу, надевали светлые кипы и в таком виде в кремовых шевиотовых костюмах важно шествовали из-за того угла, где вы сворачиваете к нам с улицы царя Агриппы, если, нагрузившись тяжелыми сетками, топаете пешком с иерусалимского базара. И большинство верхних курдов были солидными базарными курдами, которые владели на центральном рынке чистыми лавочками с орехами и крупами, где каждый мешок с крупой имел свое законное место.

Одного только риса у них насчитывалось по восемнадцать сортов, и между желтым дамасским рисом и серой полированной "кибуцницей" была огромная дистанция в один шекель. А нижние курды только и имели, что пару зеленых прилавков, на которых не выставишь даже широкие листы хасы, прилавков, зажатых надменными бухарскими мясными, неопрятными рыбными площадками хасидов, тайманскими продавцами подушек и марокканскими фруктовыми прилавками. Но даже имея такой серьезный и дорогой бизнес, как торговля бобами и макаронами, верхние курды почти никогда не торговали сами, и вместо них стоял не какой-нибудь сброд нагловатых арабских мальчишек с сигаретками "Адмирал Нельсон" в зубах, которые нанимаются на работу возле шлагбаума, - нет, вместо верхних курдов стояли потомственные иерусалимские арабы из Абу-Тора - рыжие курчавые филистимляне из знатных семей, уже в шестнадцать лет подумывающие об открытии собственных лавок. И, конечно, своими молодыми арабскими глотками они запросто перекикивали нижних курдов,

недовольно и мрачно начинающих торговлю с самого утра воскресенья, пока верхние курды еще отсыпались после шабата, и торгующих до самых последних секунд шестого дня, когда разъяренный рыжий раввин Шапиро начинает переворачивать лотки. Но нижние курды, все-таки тоже степенные курды, в свою очередь гордились тем, что на свои деньги они построили себе новую синагогу на манер главной городской - на тех самых камнях за домом кукурузника, где стоял ветхий сарайчик, в котором молились их отцы и возле которого все они родились шестьдесят лет назад. Они выложили новую синагогу дорогими коврами, а на второй этаж для женщин вела лестница с очень крепкими перилами. И у дочерей нижних курдов были мужья, хотя и не курды, но самые настоящие мужья с волосатой грудью, два раза в год в помятых и выцветших мундирах ходившие в милуим, чертыхаясь про себя, зачем все это нужно и лучше было бы десять лет назад уехать к старшему брату жены в Калифорнию.

И, конечно, нижние курды меньше верхних нарушали святость субботы - и то только если в доме была очень срочная работа, или зимой текла черепичная крыша, или их расплывшиеся жены своим брюзжанием доводили до бешенства, так что поневоле начинался скандал и в окна летела новая шабатная посуда.

Но ни верхние курды, ни, тем более, нижние курды не ходили в арабский театр, и я думаю, что они даже не подозревали, что у арабов в Иерусалиме может быть театр. Афиши разглядывала одна лишь моя соседка, любившая театр, как может любить только ребенок или сентиментальная американка, которая забралась в эту высокую провинцию двадцать лет назад, и оказалось, что отсюда уже нет выхода. Приезжаешь в Иерусалим из штата Орегон, о котором никто на свете не слышал, и вдруг обнаруживаешь себя замужем за одноногим Мойшеле, безусым венгерским цыганом с горящими глазами. В доме пятнадцать лет пахнет марихуаной, а потом муж прямо на глазах становится оголтелым хасидом, и от этого брака уже до конца жизни не опомниться. А сама Америка зафиксировалась в ее сознании мешковатым концом пятидесятых годов, бархатной улыбочкой Джеймса Дина (уже после ее отъезда он разбился на бездарных съемках), лошадиными хвостиками, хризантемами перед футболом, которые бойфренд прикалывает тебе к нейлоновой блузке, ресторанами "драйв ин" со светскими гамбургерами в чужих машинах, помолвками в кино и бесконечными поцелуями в бабушкином бьюике сорок девятого года, на который по вечерам устанавливали такой суперглушитель, что от него балдел весь Портленд. Ничего этого в Израиле не оказалось, никто тут не подворачивал носки, как она привыкла, никто не понимал, что евреям делать в нищем Орегоне, и последние пятнадцать лет она, забыв о своей американской степени бакалавра, зарабатывала портнихой на довольно сносную жизнь, такую, что ее сестра, прилетавшая на неделю из Портленда, упала в обморок и назвала ее позором семьи и "Пакистаном", оттого что на втором этаже соседкиного дома в туалете не оказалось стульчака. И ее продолжали радовать только крохотные куски нереального прошлого - любительские спектакли на

иерусалимской сцене, исчерканные томики "пеликановского" Шекспира, острый запах портлендских цирковых опилок и бутик в Яффо с пыльными театральными костюмами, которыми она прославилась до замужества. Ничего этого на свете больше не было, а была наша улица в этом городе, от которого она давно устала, толпы курдов-отцов, курдов-сыновей, курдов-внуков, утомляющих ее своей настойчивостью и тяжелыми курдскими комплиментами.

В последние недели в соседке происходили какие-то сложные внутренние процессы, и она даже попросила меня перенести к ней в спальню обе ее швейные машинки и столик, на котором она кроила, и взгромоздить их на кровать царского кафеля. Кровать начиналась от стены гостиной с большим прямоугольным окном, зарешеченным чугунными прутьями, доставшимися ей от старых хозяев, у которых на этой строгой чугунной решетке, странным образом оказавшейся в глубине спальни и вызывавшей у меня каждый раз идиотскую мысль, что на этом месте Дмитрий Каракозов стрелял в царя, дом кончался. А простиралась эта необыкновенная кровать до следующей стены, возведенной уже склонившимся к хасидизму Мойшеле, который перед самым разводом отгородил соседке для спальни часть боковой улицы, идущей метра на три выше нашей улицы курдов. Получился довольно неприступный каземат с узким ласточкиным окном под потолком, настолько высоко от пола, что молодой генерации курдов приходилось вставать одной ногой на трубу, а рукой цепляться за голубятню Иехезкейля Мизрахи, но даже тогда, прижавшись лицом к стеклу, они не видели, что делается в соседкиной кровати. Зато ей снизу были прекрасно видны и слышны все торговые операции, которые происходили напротив ее окон в доме, где жил Аркадий Ионович. До него формально было всего полтора метра, и если бы соседка продолжала жить со своим цыганом, то она могла бы покупать гашиш прямо из окна - для этого нужно было только встать на высокую стремянку, как-то условно постучать в окно напротив и сказать слово "Беньями". От дома Аркадия Ионовича к соседкиному дому даже шла неаполитанская веревочка для белья и еще был натянут кабель, по которому шли арабские и страшные порнографические фильмы. Все улицы были так плотно опутаны этим кабелем, что, живя в самой гуще домов, можно было за него не платить, а пробовать выкрутить его на седьмом канале, если у вас был телевизор, и ночами, когда холодно ложиться спать, вас могли заинтересовать фильмы про женские тюрьмы. Хозяин Аркадия Ионовича время от времени исчезал, и тогда за его сестрой приударяли все полицейские, которые во время Бениных отлучек старались держать торговлю наркотиками в каких-то приличных рамках. По утрам Бенина сестра, рост сто шестьдесят восемь, объем бедер шестьдесят четыре, никогда не смотревшая в мою сторону, несмотря на все мои ухищрения и фальшивый интерес к собакам, выводила из ворот своего годовалого ротвейлера, собаку римских легионеров, весившую к тому времени уже около шестидесяти килограммов, которая несколько раз ставила лапы на плечи аргентинцу-почтальону, и он вообще перестал разносить письма на нашей улице, а

просто подстерегал кого-нибудь из наших курдов и вручал им всю пачку писем для самообслуживания, и мне приходилось адресовать свою корреспонденцию на Аркадия Ионовича, который через улицу швырял мне письма в окно, пока у него не украли почтовый ящик вместе с дверью, а если он заносил мне письма лично, то это занимало минут десять кружения мимо домов для немедленного сноса, по узким металлическим улочкам, по которым носилась в развевающихся кружевах Бенина сестра, два квартала глухих стен, обитых кровельной жестью от всего - от тепла, от холода, от кабельного телевидения про женские тюрьмы, от хамсинов и ветра. Когда жесть ржавела до основания, приходили рабочие-арабы и набивали сверху новые листы, пока проход между домами не сузился до того, что только ротвейлер не испытывал здесь никаких неудобств, а уже полицейским, прогуливающим Бенину сестру, приходилось смотреть во все глаза, чтобы не задеть чьей-нибудь стены или Бениных окон. Из них несло кислыми "кубийот", которые обожал хозяин Аркадия Ионовича. Он говорил, что в беер-шевской тюрьме, где он сидел вместе с Володькой Шнайдером, их совершенно не умеют готовить.

Хозяин Аркадия Ионовича был торговцем наркотиками, а не вором. И авторитет его на нашей улице был высоким. Даже моя соседка из Орегона всегда останавливалась около мраморной скамейки, на которой Бенья полусидел-полулежал, исчезая оттуда лишь на считанные секунды для совершения своих незаконных сделок, и поздравляла его с освобождением. Но когда Володька Шнайдер ошивался под нашими окнами, соседку это, конечно, раздражало. Еще она не любила слушать, как нижний дед Мизрахи на темных языках разговаривает в постели с женой и как толпы сефардов торгуют у Бени марихуану. Но именно кислый запах "кубийот" - непроваренных пельменей вперемешку с кусками свеклы (чему она не могла придумать никаких американских аналогий и таким образом хоть как-то оправдать этот запах) - был очень существенной причиной, почему она решила на такой категорический отказ от личной жизни: на водворение швейных машинок на место, куда швейные машинки обычно не ставят. Этим она сразу резко меняла свой социальный статус, отгородив себя от уголовных элементов из Северной Африки и интеллигентных русских пьяниц и поворачиваясь открытым лицом сразу к трем поколениям состоятельных курдов.

Еще на нашей улице жили несколько других американских пар, которые могли заинтересоваться афишами, но пойти в арабский театр никогда бы не рискнули. Одна из этих пар появилась совсем недавно: уже при мне удачно женился сионист Шломо, который тайно посещал баптистскую церковь, был мессианским евреем, но старался это особенно не афишировать, так что даже свадьбы он устроил две - одну для баптистов, а вторую для евреев, и обе они были одинаково стерильными, не было никаких "кубийот", вся еда была вполне американской - в такой степени без микробов, что моя соседка, которая еще недостаточно себя духовно идентифицировала и поэтому была приглашена сразу на обе свадьбы (правда, она что-то шила невесте и, кроме

того, была стопроцентной американкой, хоть и из такого незначительного штата, как Орегон), была вынуждена на баптистской свадьбе прятаться с сигаретой в кустах. На том пятачке, на котором по утрам рядовые арабы-мусорщики отсиживались, прячась от доверенного араба-десятника, приходившего их вылавливать, моя соседка тайно курила вместе с какой-то немолодой женщиной с очень правильными чертами лица, говорившей с легким новозеландским акцентом, потому что последние годы жила в Новой Зеландии и была в целом не очень готова к тому, что курить можно только в кустах.

- Вы с чьей стороны? - спросила ее соседка.

- Я со стороны невесты, - сказала женщина из Новой Зеландии, - я ее мама.

И они вылезли из кустов и пошли обратно к гостям. Еще в одном смысле решение перенести швейную мастерскую в спальню казалось мне правильным: те два раза, когда у нас с соседкой происходил ужин при свечах и вообще в отношениях наблюдалась определенная напряженность, даже некоторое пожимание рук без каких-либо специальных поводов, а просто означающее взаимное расположение и приязнь, именно эта непомерная александровская кровать являлась каждый раз причиной, которая меня отпугивала. Кроме того, к новому переезду я был еще не готов, а такая непростительная слабость, как интимные отношения с собственной соседкой, неминуемо должна была привести к тому, что опостылеет весь белый свет, и я уже не только на курдов, но и на любую другую этническую группу не смогу смотреть без раздражения. К тому же у нее уже был один русский любовник, который, когда его выгнали из России, путешествовал по Европе со складной ванной и очень точно описывал предвоенные европейские столицы. Сам я его никогда не видел. Соседка рассказывала, что он был главным переводчиком на Нюрнбергском процессе, то есть и тогда он, видимо, был не первой молодости, и его звали дворянским именем Григорий Ракитин. Даже если она его выдумала, я не мог иметь своим предшественником такого уважаемого человека и каждый раз в последнюю секунду успевал объяснить ей по-английски, что лучше ей душевно потерпеть и, может быть, она встретит какого-нибудь европейца или даже американца, который в Израиле не родился или, по крайней мере, не убедил себя, что он тут родился, и он сможет увезти ее отсюда, а от меня ей очень мало проку. А дружба тоже чего-нибудь да стоит, и не нужно ею пробрасываться. Таким образом, не исключено, что я сам положил начало этому переезду из кафельной спальни. Я вообще не люблю кафель. В том доме, в котором я жил раньше, ничего кафельного не было. Даже печка была не кафельная, а гофрированная - кафельную сломали во время блокады. Это был старый "толстовский" дом - не обязательно, чтобы автор "Холстомера" и "Смерти Ивана Ильича" лично владел этим домом, но, может быть, кто-нибудь из его родни. Вход был с Фонтанки, но это был третий флигель, и дневного света было очень мало: в час дня можно было на часок раздвинуть занавески и немного почитать в большом зеленом кресле. Квартира была заставлена старинной мельцеровской мебелью - я сам покупал ее в

комиссионке на Разъезжей. Наверное, Катька все продала после моего отъезда. Вряд ли она смогла там жить одна среди этих зеркал и красного дерева.

Между тем я стоял перед дверью своей соседки и в десятый раз нажимал кнопку звонка.

- Ай эм ин э шауэ, - наконец крикнула она, - ничего не слышно, я в душе! Отгадайте, что у меня для вас есть! Можете заходить!

Я посмотрел в щелочку и решил на всякий случай не гадать.

- Вы видели афишу на помойке? - спросила она.

Последние несколько недель там висел толстый арабский парень с дверью. Такой с бабьим лицом, но очень мощный и с бородой. Я всегда думал, от чего же эта дверь, когда выносил мусор.

Но я не мог решиться, идти мне в театр или нет, потому что соседка только что поправилась от пневмонии и я снова стал замечать какие-то подозрительные кафельные интонации, которые меня настораживали. Все-таки я согласился. Зашел только спросить, нужно ли покупать носки или можно идти так. Она сказала: "Можно так". Сама она пошла в розовых синтетических сандалиях из такого пластика, как пионерские мыльницы. Она говорит, что это жутко ностальгические сандалии.

По дороге соседка стала пересказывать мне содержание спектакля. О том, как была какая-то арабская деревня под Лодом, где сейчас аэропорт и живет много грузин. И туда приезжает бродячая цыганская труппа. Это происходит еще при англичанах, перед войной. Пьесу написала соседкина подруга, которая раньше работала у нее в бутике на Яффо и помогала ей продавать платья. И там она познакомилась с режиссером палестинского театра, выучилась без акцента говорить по-арабски и стала палестинской актрисой. Но сначала еще не было никакого театра, режиссер был французским венгром, который родился в Вифлееме и чувствовал себя по культуре арабом. А она раньше была еврейкой из Бруклина по имени Фрида, и пьеса, которую придумала Фрида, не была антиизраильской, просто она была очень длинной, и там было много разных символов.

Пока мы ехали по Восточному Иерусалиму, было страшно темно. Соседка все время злилась, что арабы лезут под колеса, а она не очень внимательно вела, потому что все время мне что-то громко рассказывала. Но когда мы доехали до театра, то выяснилось, что на территориях убили мальчика-школьника и ищут убийцу, поэтому в арабской части нет света, но, видимо, скоро включат. Народу в театре было человек семьдесят, и в темноте казалось, что все арабы, потому что у многих были расклешены брюки, но вслух все в основном говорили на английском и иврите. Мы стали ходить по фойе и ждать. Соседка сразу начала знакомить меня с разными израильскими знаменитостями, которых привели ее подруги. Она их находила на ощупь. У одной был даже черный пояс по карате, и она сначала была лесбиянкой, а потом была замужем за бедуином. У нее все подруги такие - длинноногие, придурошные и не очень сексуально устойчивые. Им всем под сорок. Еще меня внимательно осмотрел в темноте какой-то известный израильский

журналист, которого уже перевели на португальский язык. Я начал ему объяснять, почему не люблю журналистику, но в темноте вышло как-то грубовато. Соседка хотела меня еще с кем-то познакомить, но я спрятался за колонной и сидел там, пока не включили свет. В зал нас впустили только через час.

Соседка сказала мне, что можно лечь с краешка прямо на сцене, но я не могу по вечерам смотреть лежа. Я боюсь заснуть.

В глубине сцены сидели, сгорбившись, шестеро актеров. Ждали, пока все усядутся. "Господи, я так соскучился по театру", - сказал я соседке, когда цыганская кибитка въехала в арабскую деревню Кфар-Шамму.

Я не знаю, как такой сюжет может прийти автору в безумную голову. Тут не бывает цыган. У меня даже весь сон прошел. Она бы еще сюда ансамбль бандуристов завезла. Но актеры стали табором, соорудили в глубине сцены театральный помост и начали свою цыганскую драму. Получилось сразу несколько слоев: на внутренней сцене играли арабы-цыгане, потом шел первый деревенский слой арабов-арабов, дальше вдоль сцены лежали соседкины подруги, наконец, шел слой настоящих живых арабов с расклешенными штанами, и в последнем ряду сидел я.

А на каблуках перед всеми качалась цыганка, ее играла сама Фрида, которой, в принципе, опротивели цыгане, потому что нечего жрать и нужно все время ездить в кибитке. И она заставляет себя влюбиться в одного деревенского парня. Но легче ей от этого не становится: как раз в это время начинается война, жених ее становится бандитом, а всю деревню и даже часть зала минут десять по-настоящему бомбят, пока на сцене не остаются одни лишь развалины. И все разбегаются. Кроме цыганки и Амера, толстого идиота с большой деревянной дверью, который висел на нашей помойке. По ошибке я даже решил, что этого с дверью играет сам режиссер.

Я вообще мало видел в своей жизни актеров такого класса. Он был голов на двести выше всей остальной труппы, а там была парочка профессионалов. Остальные, правда, настоящий драмкружок из города Колпино, только еще арабский.

В этом месте я немного отвлекся и поразмышлял об арабах. Иногда мне казалось, что они такие же люди, как я. А иногда - что не совсем такие. Все-таки жить в городе, в котором много мусульман, всегда было очень спокойно.

Краешком глаза я замечал, что на сцене среди развалин остались сидеть идиот с помойки и Фрида. А в это время из Египта возвращается с дипломом главный герой. Он несет диплом скрученным в трубочку и старается всем показывать. Хоть показывать его особенно некому, кроме этих двоих и соседкиной подруги с черным поясом по карате, которая застряла на сцене во время бомбежки и сейчас сидела на корточках и бесстрастно курила. Главного героя зовут Валид.

Этот Валид минут двадцать никак не может поверить, что деревни больше не существует. Сохранилась одна дверь. И он начинает бродить по свету в поисках односельчан. Цыганка ищет повсюду своего возлюбленного, а

деревенский дурачок таскается за ними следом, потому что оставить их на сцене одних нет никакой возможности, настолько они беспомощно играют.

Декорации меняли просто изумительно. Режиссер довел смену декораций до такого блеска, что администрация театра сразу уволила за ненадобностью всех рабочих сцены. Администрация была палестинской, и кем бы себя ни чувствовал по культуре режиссер, ужиться с ними не было никакой возможности.

И так это все продолжается, и, в конце концов, они находят своих кфар-шаммских уже в Нью-Йорке, но мы до этого не досмотрели. Спектакль шел четвертый час, и мы переглянулись с соседкой и поехали в кафе в Синематеке, где никогда не закрывают, пока идут ночные сеансы.

- Меня поразил этот парень с дверью, - сказал я. - Жалко, что я не познакомился с режиссером.

- Режиссер поехал в Перу наниматься там на работу, - ответила соседка. - Ты знаешь, почему я не смогла досмотреть до конца? У меня такая ностальгия по Америке, что все время хочется плакать.

Мне очень нравилось, что в этом кафе всегда много молоденьких официанток с какими-то дикими акцентами. Хозяин кафе жил недалеко от нас в громадной вилле. Он был женат на немке из Гамбурга, которая выдавала себя за датчанку. Я давно уже на нее поглядывал: у нее были длинные кривые лодыжки, как у подростка, и удивительно нежная улыбка. И все официантки были по общему типу на нее похожи, разные бродяжки из Северной Европы, которыми полон Иерусалим, только таких кривых лодыжек больше ни у кого не было.

- Этот пирог не стоил бы в Америке дороже двух долларов, - сказала соседка. - Еще и подогретый. Все-таки Фрида замечательно пишет. Ты еще увидишь, что будет, когда она начнет писать про евреев.

II. From inside

Франсуа вернулся из Перу перед самым фестивалем, и уходит ли он из театра, было еще не ясно. И без фестиваля у него было достаточно проблем с Кфар-Шаммой. Во-первых, там есть сцены, где Фрида целуется со своим бандитом, и эти поцелуи на арабской сцене были неслыханным скандалом. Во-вторых, у него возникли конфликты с "мусульманскими братьями" из-за того, что в пьесе есть такой момент: когда они шляются там по свету, кто-то от отчаяния стреляет в Бога, и "мусульманские братья" были этим страшно недовольны, так что после их угроз часть сцен пришлось вырезать. Франсуа вообще предпочел бы везти на фестиваль Брехта, чтобы совсем не соваться в политику, но спектакль был еще сырым, и показывать его он не рискнул. А когда стало известно, что во время спектакля в зале будет висеть израильский флаг, то конфликт начался и в самой труппе: некоторые актеры были нормальными израильскими арабами, и они к флагам привыкли - ведь ходили же они в банк или на почту. Но еще были люди, для которых флаг именно что-то значил, и под израильским флагом они играть не хотели и просто не

могли. Самым беспокойным был осветитель, который отсидел уже год в "Джамалле", потому что у него был родственник-террорист и они оказались под одной крышей, когда террориста пришли арестовывать. А в тот год было постановление, что за доноительство сажают всех взрослых мужчин, которых застают в доме. Он принадлежал не к крайне левому крылу Арафата, а к крайне правому Хабашу и вообще не хотел ехать на фестиваль и ничего перед израильтянами освещать. Но Франсуа и Амер уехали с вечера готовить декорации, а остальные весь день неохотно слонялись по театру и переругивались.

Амер рассказывал, что когда он въехал в Акко, он увидел несметное количество израильских флагов - два года назад на театральном фестивале ничего подобного не было. Но тут еще одна очень важная деталь. За неделю до этого фестиваля был съезд компартии, а весь Акко был увешан красными флагами, очень красивыми для тех, для кого они в новинку. И было такое впечатление, что за три дня власть переменялась и Израиль уже больше не коммунистический. Но в общем все были достаточно спокойны, тем более что за несколько дней до фестиваля с пьесой ознакомился мэр Акко, который был маараховцем и относительно левым, но он не хотел, чтобы не только "Эль Хаковати", но и израильские театры трогали слишком уж щекотливые темы, и многие пьесы пришлось основательно порезать, а Кфар-Шамму он не тронул. Мэр сказал, что в городе с половиной арабского населения он сам лучше всех знает, какие пьесы ему подходят. Очень существенно, что мэр был маараховцем - для Ликуда это был лишний повод их основательно лягнуть. Ликудовский лидер тоже был в театре, но кто из них кто - разобраться было трудно: у лику-довского претендента на пост мэра была толстая золотая цепь, а у маараховского мэра цепи не было, но они оба сидели довольно высоко, и со сцены или из зала золотых цепей видно не было. Они были невысокими, толстенькими и довольно гладкими партийными активистами, и с Каталиной, которая была посредницей между театром и организаторами, они разговаривать избегали: мало того, что она была ашкеназийкой, но она еще вдобавок работала с арабами, и это им не нравилось.

Труппа приехала в Акко около шести. Но к самому театру было никак не проехать: полицейских стояло человек двести пятьдесят. Больше всего было пограничной полиции и противотеррористических команд, но еще очень много народу с мегафонами, которые все что-то скандировали, видимо, не очень приветливое. Отдельно скандировали кахановцы и еще плотная группа в кипах, но в вязаных, хасидов почти не было. Труппа уже здорово опаздывала: пока успели пробиться через полицию, запарковаться около заднего выхода и хлопнуть дверью, было уже около семи часов. В самом театре все только ахнули.

Театр утопал во флагах. В фойе стояли громадные вазы для цветов, набитые флагами. Флаги висели над всеми дверями, во всех проходах. Два громадных флага стояли у сцены, и трое молодых людей стояли с охапками флагов в руках и совещались, куда еще их можно повесить. В самих проходах вазы с цветами тоже были забиты флагами. Чтобы их обойти,

нужно было пробираться бочком по стеночке.

Франсуа сказал, что это продолжается целый день - вокруг него ходят люди и развешивают флаги. Один флаг висел прямо над маленьким режиссерским пультом, и Франсуа постоянно его отодвигал, чтобы флаг не мешал видеть сцену. Каталина, которой было совершенно на все наплевать - она и так слишком долго заставляла себя сдерживаться, - сказала громко, что это все напоминает рассказы ее дедушки, который тоже был актером и уехал из Германии в тридцать шестом году. На самом деле это было совершенной неправдой, потому что ее дедушка приехал в Америку из Польши в двадцать третьем году и к тридцать шестому уже успел благополучно умереть в Бруклине не очень богатым портным.

Сам Франсуа старался всех игнорировать. Он свободно говорил на иврите, с легким французским акцентом. Но у него все акценты были вторичными и очень перепутанными. На французском он тоже говорил не как парижанин. Нужно было говорить какие-то слова приехавшей труппе, но он не сразу решился. Самый большой флаг висел над входом в зал - настоящий шелковый красавец около трех метров, остальные флаги были все-таки значительно меньше.

Пока Франсуа раздумывал, первым встал осветитель. Он сказал, что делать больше ничего не будет, и двое актеров стали склоняться на его сторону. Одним из них был главный герой Валид, но даже и не главного героя подменять сегодня все равно было некому. Валид вообще был чрезвычайно малопривлекательным человеком. Несмотря на свой диплом, которым он по пьесе очень гордился, в жизни он был совершенно неграмотным арабом из Рамаллы. Чтобы человек был настолько неграмотным - для Рамаллы это редкость, и из-за того, что он не умел ни читать, ни писать, разучивание любой роли с ним было колоссальной проблемой. А уж договориться с ним о чем-нибудь было почти невозможно, и речи осветителя на него очень подействовали. Вторым начал отказываться играть мальчишка, который исполнял роль террориста, - совершенно наглый двадцатичетырехлетний гомосексуалист, который считал себя самой большой звездой палестинских театров, что, конечно, было полнейшей чепухой. В дополнение к этому затосковал Амер. А это уже становилось страшным, потому что без Амера играть было нельзя и от него очень зависело настроение всего спектакля. Амер весь день таскал декорации и всякие манатки в заколоченных ящиках, и, естественно, у него не было сил, хоть он и здоровенный, как слон, открывать перед магнитной рамкой, установленной для проверки на бомбу, каждый ящик. С одним ящиком он попытался проскользнуть мимо, и из-за этого еще днем случился невероятный шум. Его начали сильно толкать солдаты, потребовали у него документы, которые он забыл в Иерусалиме, и пришлось вызывать организаторов фестиваля, чтобы его отпустили только с полицейским предупреждением, а вещи все равно пронести мимо ловушки не дали. Кроме того, вокруг них с утра не прекращалось пикетирование, и за весь день не удалось съесть ничего, кроме лимонного чая и моркови, которая случайно оказалась в машине. И когда начались эти склоки в труппе, он

просто сел и заплакал от усталости, а было только семь тридцать, и предстояло еще целый вечер играть в "Кфар-Шамме", которую, к счастью, за последний месяц немного сократили - там было слишком много расхлябанного арабского текста, какой-то недозированной уличной трепотни, и Фрида писала слишком длинные монологи. Хотя арабские зрители именно такие длинные монологи больше всего любят слушать.

Кончились все эти пререкания тем, что поднялся Франсуа и сказал: все, кто хочет, могут идти, но это все-таки его театр, и решение играть или нет будет принимать он сам.

И тогда все остались. Даже осветитель.

Сначала он демонстративно посидел, а потом начал в уголочке тихо возиться со своим оборудованием. Но все были совершенно уже выжатые. И в обычные дни Франсуа приходилось всех очень гонять. Он никогда никому не давал поблажек. Даже когда на одну репетицию пришла его мать и, сходя со сцены, сломала ногу, он ей крикнул по-французски, чтобы она посидела, пока он кончит репетировать. Но сегодня никакие его крики не работали.

Перед спектаклем на сцену поднялся главный полицейский чин Галилеи. Это тот пост, который раньше занимал Иосиф Флавий.

Иосиф Флавий вежливо раскланялся и попросил сказать честно, не собираются ли они во время спектакля поднять флаг Организации освобождения Палестины, и если да, то пусть они по-хорошему скажут.

Играть начали с опозданием: Франсуа сказал несколько вступительных слов на арабском и на иврите, что обстановка вокруг спектакля очень напряженная, но они приехали сюда не для политических демонстраций - они приехали на театральный фестиваль, и пьеса, которую они будут играть, - о людях всего мира, которые сорваны со своих мест и нигде не могут найти пристанища. "Поэтому мы будем играть, - сказал он, - и на детские провокации не обращать никакого внимания".

И потихонечку начали играть. В деревню въехал цыганский театр. Фрида забеременела от своего террориста, Амер заколол ножом старосту деревни, и вот в тот момент, когда загудели самолеты и должна была начаться бомбардировка деревни, первый ряд неожиданно встал.

Конечно, это можно было предусмотреть заранее, потому что первый ряд занимали мальчики одинаково американского вида, и они по команде вскочили, сорвали с себя куртки и оказались в желтых рубашках с портретом Кахана на груди. Все получилось очень естественно - самолетный гул нарастал, кахановцы размахивали куртками и гнали арабов вон из Израиля, а по "воки-токи", конечно, все сразу сообщили в фойе, и через полторы минуты в зал вбежали штурмовые отряды и полиция. На сцене в этот момент оставались Амер и Фрида, и на всякий случай, не по роли, к ним вышел и встал рядом Франсуа.

К моменту, когда вбежала полиция, уже весь зал стоял на ногах. Надо добавить, что часть солдат вбегала прямо с улицы, вместе с ними увязалось еще довольно много демонстрантов, и тогда Каталина встала вместе с билетером в дверях и начала всех удерживать - и полицию, и не полицию. Но

многие солдаты хотели взглянуть хотя бы на секундочку, что же происходит в зале, и удержать их было просто невозможно. Правда, гражданских они старались больше не впускать.

Мэр Акко в это время почему-то оказался в фойе, он прохаживался взад-вперед вместе с директором театра, похожим на Карабаса-Барабаса, и в чем-то его горячо убеждал.

Штурмовые отряды пробежали по проходам на сцену и красиво встали там цепью, держа наперевес автоматы. Первый ряд кахановцев увели, и актеры собрались в самом центре сцены. Но зал все еще стоял, и никто не хотел садиться. И солдатам пришлось подталкивать зрителей прикладами, не зло, но чтобы все сели. И тогда Фрида начала обкладывать солдат на четырех языках матом, чтобы они ни до кого не дотрагивались, потому что это не бордель, а театр. Фрида была чрезвычайно возбуждена. Ее родителей когда-то вывезли из России, хоть она и похожа на арабку, даже скорее на черкешенку. Пока не встретишься с ней глазами - это просто вылитая наглая черкешенка девятнадцати лет с не очень хорошей кожей. На самом деле ей уже тридцать четыре, и это обычная издерганная истеричка из восточного Бруклина, даже из дальневосточного Бруклина, если вы понимаете разницу. Когда она распоясывается, с ней вообще нет никакого сладу. С Франсуа они друг друга тоже не очень жалуют, и все время оба орут. Особенно здорово Фрида, конечно, матерится по-английски, но на других языках она тоже говорила разные гадости, и солдат это очень раздражало. Удачно, что по роли она была беременной, а солдаты все были молодые мальчишки, и они просто не хотели с нею связываться, тем более что она все-таки была и американкой, и полноправной израильской гражданкой и могла позволить себе сказать, что она думает обо всем на свете. И корреспондентов в зале тоже хватало.

Снова выступил Франсуа и сказал, чтобы все сели. Труппа хочет играть. И зал сел. И они стали играть с того места, когда заревели самолеты. Только диалоги на ходу сокращали. Потому что невозможно было играть все целиком, это все понимали, даже Фрида.

Все играли отвратительно. Франсуа всегда всем недоволен, но тут вся труппа играла плохо. Амер устал и никак не мог зажечься. Каталина сказала, что ей страшно оставаться одной в фойе, там обстановка была тоже накаленной, и она кое-как пробилась на сцену. Она сказала, что второй раз так попадает против своих - она когда-то работала с негритянскими подростками, и в зал, где они репетировали, забежали двое черных парней, а потом ворвалась полиция. "Видно, у меня такая планида", - сказала она. Каталина - настоящая бунтовщица, ей все время нужно во что-нибудь ввязываться.

Перерыв был еще один - к Франсуа подошел майор в берете и объяснил, что был телефонный звонок и в зале бомба, но полиция уже сама всем сочувствовала, искать они искали, но ясно было, что никакой бомбы под креслами быть не может.

И тогда, уже не прерываясь, доиграли все до конца.

Организаторы фестиваля поздравили очень тепло, сказали, что здорово и что вечером будет банкет - чтобы все до одного обязательно приехали. Но просто уже все очень выдохлись. Закрыли дверь за последними зрителями и сели обессиленные на пол - труппа и еще четверо молодых человека охраны, к которым возникла даже тень благодарности за то, что актеров кто-то страховал. Хоть умиляться было нечему: охранники стерегли только флаги, и еще бы их было не стеречь, флагов там было тысяч на семь.

Декорации можно было убрать утром, а пока только спать.

"О фак! - сказала Фрида, когда открыли заднюю дверь театра. - Одно колесо спустило. Шит! И второе тоже!" Автобус стоял на трех взрезанных колесах, прислонившись к задней двери. Потом Амер приподнял его и загнал плечом в тупик.

"Все играли безобразно", - снова повторил Франсуа.

Пока Франсуа ругался, кто-то принес маленькую жаровню и ящик мороженой рыбы. И два человека стали с ней возиться. Валид, осветитель и лучший актер палестинского мира исчезли, ничего не сказав. Наверное, их увезли на машине. Остальные сидели, грызли морковь и ждали, когда пожарится рыба. Потом приехал автобус из маленькой коммуны вегетарианцев, где у Франсуа были знакомые, и где-то на полу все вповалку легли и заснули.

А наутро, когда Амер приехал за декорациями, в дверях стоял Мойшеле-бутафор из иерусалимского театра "Хан", декорации лежали сложенными в углу сцены, а в глиняных цветочных вазах стояли свежие гладиолусы.